

Аланка Уртати

Кавказские НОВЕЛЛЫ

Skleněný
mústek
2015

Аланка Уртати

Кавказские НОВЕЛЫ

SKLENĚNÝ MŮSTEK
KARLOVY VARY 2015

Skleněný můstek s.r.o.

Vítězná 37/58, Karlovy Vary

PSČ 360 09 IČO: 29123062 DIČ: CZ29123062

Аланка Уртати - российская писательница, член Союза писателей Москвы и России. О ней пишут в СМИ, что она взяла себе благородную задачу заново знакомить с Кавказом россиян, которые за время перестройки и разлома страны, или забыли, или уже не знают его.

О ее произведениях пишут, что они обладают «мощной энергетикой Кавказа, которая питала самых великих представителей русской литературы, таких как Пушкин, Лермонтов, Толстой».

Ее творчество называют «свежей струей в сегодняшней русской литературе», она пишет хорошим стилем и чистым русским языком, от которого российский читатель за прошлые годы, если не читал классику, мог отвыкнуть, придавленный пошлостью и цинизмом сверхновой литературы.

Теперь Аланка Уртати вышла за пределы своей страны, чтобы рассказать миру о своем Кавказе, который считает удивительной страной внутри России.

© Аланка Уртати 2015

© Skleněný můstek s.r.o. 2015

ISBN 978-80-87940-66-2

СОДЕРЖАНИЕ

МНЕ СНИЛОСЬ, ЧТО Я БАБОЧКА

ВОЛК, ВОЛК...

ДАР ЦАРИЦЫ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ДЖОДЖР

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

ХІІІ.

КАВКАЗЕЦ

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 8.
- 9.
- 10.

КОВЧЕГ НАИРЫ

ЛАМИНКА

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Вместо эпилога

БАЛЛАДА О ЛЕРМОНТЕ-СТИХОТВОРЦЕ

- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.
- VI.

НАРТЫ И ДАЛИМОНЫ

Глава 1. Караван большого ущелья

Глава 2. В стране поздних Нартов

Глава 3. Жизнь в горах

Глава 4. Всякий люд на дорогах жизни

Глава 5. Печаль по А-Лани

ПРЯМОЙ ПУТЬ ПО КРУГУ

ПОЙДЕМ В ЦВЕТЛИН!

Часть I. Первопричина Цветлина

Замок на горе

Мужской принцип Цветлина

Путь в Нидерланды

Встреча в Пуле

Часть II. Приди в мой дом

Гости Штефана

Иво и Габриэл, цветлинцы

Лена и Марко

Ёжи и Кира

Бранко и Снежана

Давор и Аида

И все любители «belot»

Часть III. Зимой в горах

Возвращение в Цветлин

В поисках утраченного...

Кредит, силки и чашка кофе

Массагетская царевна

Штефан и Лара

Выстрел в спину Цветлину

Ночное происшествие

Открой свое сердце

ПОЛЕТЫ НАД КРЫШЕЙ МИРА

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

**ОТДАЙ СВОЙ ПРАЗДНИК ДРУГУ
ПТИЦЫ, ЛЕТЕВШИЕ ЗА БОГОМАТЕРЬЮ**

Спасатели
Детский городок
В бездне Беслана
Ангел
Бесланский класс...
Философия смерти
Мальш
Святящийся крест
Сон Ирины
Возвращение?

ПУШКИН И ДРЕВНЯЯ АЛАНИЯ
ПРАЗДНИК СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
ИЗ СТАМБУЛА В КОНСТАНТИНОПОЛЬ
ПОЕЗДКА НА КАВКАЗ
ХУДОЖНИК

I.
II.
III.

НОРА ШВЕЙЦЕР

I.
II.
III.
IV.
V.

МНЕ СНИЛОСЬ, ЧТО Я БАБОЧКА

Мое восхождение началось от плато – выше, к поднебесью. От слабости мне это плохо удавалось, и я опять шла на полусогнутых ногах.

Открытая калитка беспомощно висела. Я прошла через пустынный двор, в нем больше не было жизни. Перед дверью я остановилась. Когда-то давно отец сказал про мое внутреннее зрение, теперь я понимала, что оно означает: я чувствовала, что в доме кто-то был.

Долго, очень долго я стояла на пороге, а потом в отчаянии забарабанила в дверь. Я била обеими руками и кричала:

– Открой мне дверь! Ты вернулась, я же знаю, что ты вернулась!

Это было безумие с моей стороны так кричать. Я испытывала боль в груди. Та боль, что скопилась за недолгую мою жизнь, вдруг превратилась во что-то огромное, оно разрывало меня изнутри. И некуда было деться от этого, не было в мире такой стены, которая заслонила бы меня.

Дверь вдруг подалась, от неожиданности я упала на колени и закрыла лицо руками. Я боялась увидеть того, кто вышел...

* * *

Старуха иногда смотрит на меня, не надоедая взглядом. Это она везет меня в глубь гор, хотя я вижу ее впервые. Она попросила отдать ей меня, и меня отдали.

Что-то есть во всем – в горах, в дороге, в этой женщине, в чем невозможно разобраться. Только все время что-то чувствуешь, и ты одинока в этом.

Заглядываю в бездну пропасти, но там, внизу, никак себя не ощущаю. Я наверху, парю в маленькой коробочке автобуса, пропахшего пыль, бензином и летними яблоками.

Теперь мы едем уже не по асфальту, а по осыпи камней, у всех дрожат щеки, а у меня сотрясается все внутри. Нас восемь пассажиров, девятый шофер, мы плывем по горному серпантину – слева над пропастью, а справа жмемся к скалам, нависающим над нами.

Мне не страшно, просто внутри что-то тоненько мучает, не отпускает и кажется, что оно вот-вот прорвется, и все обрушится на нас. Меня даже начинает тошнить, старуха могла бы заметить, я, наверное, бледная.

Но как раз в это время она не поворачивается ко мне, и я вижу ее какой-то особенный профиль, по которому никак не догадаться, сколько же ей лет. Для меня она старуха; ей, наверное, тридцать лет.

Автобус напоследок рыкнул, дернулся – приехали. Она кивает мне, и мы уходим вдвоем по узкой дороге, берущей резко вверх над плато, на котором уже ставший маленьким для нас автобус разворачивается и ползет назад.

Она вдруг забрасывает все концы своего огромного платка на голову, получается неповторимый убор, но это нагромождение спасает ее голову от солнца, в то время как мою нещадно печет.

Теперь я вижу ее узкую спину, размеренную походку. так я могла бы идти только по ровной дороге. Идем – она, будто сосуд на голове несет, стройная и высокая, а я – на полусогнутых ногах.

Меня больше не тошнит, все нутро словно вынули из меня. Я еле плетусь, но ни за что не спрошу, долго ли еще идти.

Мы пришли в тот самый момент, когда мне было уже все равно, сколько идти. Во дворе, обнесенном низким забором горного сланца, стоял оглушительный шум от коз и птицы.

Ковчег дедушки Ноя! И я ваша теперь, дорогие мои звери, я с вами теперь! Ей, видите ли, скучно стало, и она выпросила меня у моих родственников.

Тут она наметила ястребиным взглядом жертву – пеструю курицу, и та сразу начала носиться по двору, чувствуя близкую смерть.

Но ведь не станет же старуха отрывать ей голову сама. Выйдет, наверное, с курицей подмышкой и с ножом в руках и будет поджидать какого-нибудь мужчину, а представить прохожего – здесь же конец пути, самый верх под небесами, сюда однажды забираются, чтобы забыть все, что внизу.

Она взяла свою курицу, добытую в дебрях сарая, и ушла по дороге в другую сторону от нашего пути сюда.

Как только солнце закатилось за вершину, в одно мгновение все померкло. Вмиг потянуло холодом. Я вошла в дом и огляделась. В таком доме, конечно, нет ни книг, ни музыки, ни ванны. Ничего нет.

Пока она растопит печь... Я голодна и не скажу ей об этом, но внутри всё гаснет, и от дорожного волнения и любопытства не остается и следа.

Когда курица будет готова, она мне уже не будет нужна, я хочу есть сейчас. И с дороги я хочу спать, но она, пока не приготовит поесть, не догадается уложить меня.

Мне холодно и противно. Я уже ненавижу этот дом и испытываю лишь раздражение от всего, что меня окружает.

Когда приходишь в чей-то дом впервые, то видишь какие-то вещи и хоть один уголок, в котором хочется в дождь забраться под плед и посидеть с книжкой.

В этом доме нет ничего, что могло бы понравиться. Интересно, долго ли она заставит меня здесь гостить?

Старуха пришла и принесла уже ошипанную курицу с болтающейся головой, и конечно, сырую – разве могла она свариться за это время? Но на

блюде у нее оказались горячие пироги, необычайно вкусные.

Тут до нее дошло, что я умирала от голода и усталости, и она быстро постелила мне постель. Я провалилась в бездну сна.

Утро встретило меня ослепительным солнцем и шумом животных во дворе. Я встала и увидела весь этот поднебесный мир.

Вслед за козами я отправилась по склонам, откуда виднелась древняя, узкая и высокая сторожевая башня. Когда-то в момент опасности там зажигали огонь и передавали сигнал от башни к башне.

Вслед за козами я пришла на альпийский луг, собрала там большой букет цветов и горной мяты для чая.

Моя старуха весь день пыталась меня приласкать. Она приготовила вкусные пироги с тыквенной начинкой, мы сидели на крыльце и ели. Я съедала серединку пирога, а края скармливала курам и ягненку.

Тина, так звали мою старуху, расспрашивала о Дине, моей мачехе, но мне не хотелось думать о Дине. Я протягивала кусочек пирога ягненку, он брал его так трогательно, что ладоням было щекотно. Куры зорко высматривали одним глазом, куда упадет крошка. Забавно было так обедать.

Она, кажется, спрашивала о мачехе. Папа долго не женился после моей мамы, а все родственники в каждый его приезд приставали к нему, чтобы он женился, они говорили, что мне нужна мама.

Когда его познакомили с Диной, все увидели, что он поразился ее красоте. Теперь они живут в Сирии, где папа давно работает в посольстве. А я живу у тети, его старшей сестры.

Возможно, моя тетя добрая женщина, но мне невозможно привыкнуть к ее голосу.

Она рассказывает веселую историю, а кажется, что она кричит и выкатывает глаза. Ее нимало не заботит, что в доме все хорошо слышат. Дядя очень тихий человек, а мой двоюродный брат имеет абсолютный музыкальный слух.

Так говорит мой папа, он ему привозит джазовые диски, потому что больше всего на свете мой брат любит джаз.

У него есть пластинки, на которой слепой негр поет о Голубых Гавайях. Хриплый такой, печальный голос.

А у тети есть привычка – говорит фразу, а со второй половины сама себе вторит, например:

– У меня от твоих странностей голова кругом идет, – это она мне – ...и голова кругом идет. – И так постоянно.

Странности – это моя «манера никогда не спорить, смотреть искренними глазами, а делать по-своему». Когда она начинает это говорить, я надеваю наушники, которые привез мне папа, и снаружи остаются ее губы.

Я ничего не делаю плохого, просто я сама по себе. Поэтому тете кажется, что она не справляется с моим воспитанием.

– И что тогда скажут все!, – сокрушается она.

А больше всего она будет виновата перед братом, моим отцом, потому что сама настояла на том, чтобы он женился на моей мачехе. И теперь не поймешь, довольна она этим или сожалеет.

Она мучает меня своими подозрениями, что у меня появились «плохие» подруги, которые обязательно испортят меня.

– Сейчас такое время, – говорит она – очень много плохих девочек... И очень много плохих девочек.

А моим подругам больше всего нравятся мои красивые вещи. Они ходят в них, пока родители не спросят, откуда у них такие вещи, и не вернут тётё.

Тётя всякий раз перед всеми гладит меня по голове и со вздохом объясняет – несчастная девочка. А с её привычкой все повторять, я слышу это многожды, многожды...

Иногда я могу её ненавидеть...

* * *

Под тем рисунком стояло: «Мне снилось, что я бабочка». Аманда Плоуден, 10 лет, Великобритания. Она была моей ровесницей. Я тогда сказала папе, что Аманда от чего-то страдает.

Он после этого попросил каталог Всемирной детской выставки на английском языке, внимательно перелистал его, а потом кому-то сказал, что у меня внутреннее зрение, и что мне будет трудно жить.

Про зрение я не поняла и обрадовалась, что мне будет трудно, значит, папа не уедет больше. Но папа вскоре женился на Дине и уехал.

А с тех пор, как у меня в Сирии родился брат, они давно не приезжали, потому что малышу было вредно менять климат.

Однажды я совершила безумный поступок – написала Аманде Плоуден в Бирмингем письмо. Я послала ей массу ошибок по английской грамматике, правда, заранее извинилась за все ошибки.

Через два с половиной месяца от нее пришел ответ. Мне перевела это письмо старшая сестра моей одноклассницы, она учится в университете.

Аманда писала, что не понимает, отчего это я, такая здоровая и красивая девочка, как на фотоснимке, где стою с папой в детском парке, могу быть всегда такой печальной. Она написала почему-то «всегда», как будто знала меня.

Аманда всегда весела. Правда, в недавнем прошлом ей пришлось кое-что пережить, и теперь её возят в кресле.

Тогда и случилось то, что ей приснилось – она была бабочкой, у нее были крылья. И чтобы это осталось навсегда с ней, она нарисовала свой сон.

А мама сказала, пусть этот рисунок путешествует по всему миру, и послала его на конкурс, так он попал и в мой город.

Я приколотла к стене снимок – Аманда в кресле, рядом ее мама, обе сме-

ются, а позади большой красивый дом, какого я не видела никогда в жизни. У него, как у человека, есть имя «Файнхолл», по словарю – прекрасный дом.

Так он и запал мне в душу вместе с девочкой, летающей во сне бабочкой, ее счастливой мамой, сеттером Джерри, у которого на коричневом носу белое пятнышко.

Аманда спрашивала в письме, предполагаю ли я, когда вырасту, посетить Файнхолл. Я тщательно выписала в ответном письме фразу: «Я предполагаю посетить Файнхолл».

Аманда с мамой часто сидят с атласом в руках и обсуждают маршруты их будущих путешествий по свету, потому что, как говорит мама, Аманда в кресле видит тот же самый мир.

И тут со мной что-то случилось, я стала покрывать стены своей комнаты открытками, наклейками с разными странами и городами. Часть из них привозил когда-то папа, другую часть я вырезала из журналов.

Вокруг меня появился необозримый мир, а в центре, посреди Англии – Файнхолл, место, где живет Аманда, не ступающая на землю ногами, счастливая бабочка.

Я скиталась по домам многочисленных родственников, но мысленно всегда обращалась к одному и тому же месту. Мне предстояло только вырости, чтобы найти это место.

* * *

Я знаю много домов, мое открытие заключалось в том, что в богатых и бедных домах моих родственников мне хуже, чем здесь, в доме Тины. Только меня не оставляло чувство, что для Тины это временное пристанище, такое же, как для меня.

Здесь не было дома, но потом я поняла, что Тина решила его создать. Она как будто взяла меня навсегда и никому не собиралась отдавать. А то, что тетя с дядей уехали из города, передав, что я могу здесь провести все каникулы, Тине было только на руку.

Она вдруг стала из магазинов, непонятно где находившихся, привозить различные вещишки. Наверное, она растрчивала таким образом все свои деньги. И бедное жилище Тины с каждым разом преображалось. Оно не стало богаче, оно стало уютней. А может быть, я стала привыкать к нему.

К нам даже попала роскошная, расписанная золотом и глазурью сахарница.

Мы пили чай, настоенный на травах, которые я собирала на альпийских склонах, любовались нашей сахарницей, а рядом из японских наушников слепой негр пел о Голубых Гавайях. Тина смотрела на меня, улыбаясь. Нам было очень хорошо.

Я тоже украшала жилище, писала акварелью картинки, которые Тина повсюду развешивала. Мне пришла в голову мысль обновить старый и совсем

облезлый ковер, на котором вместо узоров проступала стершаяся зала с королевой на троне и придворными.

Тина рассказала, что это грузинская царица Тамара принимает послов, бабушкин ковер. И если не прикасаться к нему, а только смотреть, то наша комната включала в себя ожившую дворцовую залу.

Мы сами делали хлеб, пили с ним козье молоко. Я загорела. Тина радовалась, глядя на меня, и говорила, что меня теперь не узнать, из бледной и хилой девочки я превратилась в красавицу с розовыми щеками.

* * *

Как-то я подумала о Тине, что она как будто ходит под чьим-то пристальным взглядом. Как будто кто-то есть, кого я не вижу.

Иногда она могла весело смеяться и становилась моей ровесницей, тринадцатилетней девочкой, а потом могла застыть и снова стать старой.

Однажды проехал на лошади мужчина, который оповестил всех жителей ущелья о чьей-то смерти в селении под нами. Тина собралась, за нею зашли другие женщины.

Я пошла их проводить и долго еще стояла на выступе скалы, смотрела, как они в черных одеждах вереницей сходили вниз.

Тина выделялась среди них не только своей походкой, она не была похожа ни на кого вокруг меня.

Поздно вечером она появилась с покрасневшими от слёз глазами. Я ждала её и спросила, отчего она так плакала, ведь умершая старуха была ей чужой.

Тина ответила, что чаще всего на похоронах каждый плачет о своем горе, а покойник всегда предлог наплакаться вволю.

А через несколько дней ночью я стояла босиком под дверью другой комнаты и слушала мужской голос, который говорил с Тиной:

– ...тебе всех жалко, Тина, кроме меня. Сейчас ты уговариваешь меня любить эту девочку. Я полюблю ее когда-нибудь, но почему ты губишь моего ребёнка в зародыше? Носишь-носишь, а потом что-то случается, и все рушится.

Тина плачущим голосом ответила ему:

– Может быть, это всегда было невозможно. В этот раз я особенно моллю Бога и очень осторожно хожу. Наверное, это последний раз для меня.

– Тина, – воскликнул мужчина, – ты хочешь сказать, что ты опять...? Почему же ты не вернешься? Как ты можешь жить здесь, ведь это же не дом! Только вернись, я не позволю никому сказать тебе даже слово...

Я вернулась на свою постель и накрылась одеялом с головой, потому что одинаково боялась и слов, и тишины из-за той двери.

И тут открылось мне, что Тина всегда, каждый час ждала этого человека. И меня взяла потому, что ей невыносимо было ждать одной. Она дождалась, и теперь, когда они выйдут из той двери, их будет трое.

Я стала думать о том, кто в этом мире ждёт меня. Дэна задаривает вещами, которые мне вовсе не нужны, чтобы я не плакала и не цеплялась за папу, когда они уезжают.

А тётя на людях совсем не такая, как в доме. Может, она и любит меня, но ведь не больше своего единственного сына, а всем старается объяснить, что больше.

Все почему-то притворяются друг перед другом, что любят меня больше своих детей, хотя все понимают, что это невозможно. Наверное, у них это верх приличия – так говорить.

Я долго плакала и очень от этого устала, и еще что-то во мне накапливалось, непонятное что-то. Рано утром я встала и пошла по склону, где всегда пасла коз Тины.

И там, за склонами, вдруг открылось: он, как сказочный зверь, распластался и сверкал на солнце своей белоснежной шкурой.

И я пошла по ослепительной дороге, соскальзывая с ледяных глыб в расщелины, но это не пугало и не останавливало меня. Я знала, я всегда знала, что такой особенной дорогой можно прийти в прекрасный дом.

Все случилось в одно мгновение – сияние льда ослепило меня. Когда сознание мое прояснилось, я почувствовала нестерпимую боль в левом колене. Спина упиралась в ледяную стену, а когда я попыталась повернуться, то уперлась в ледяные стены плечами. Мне было холодно, очень холодно, мне было больно.

Надо было переждать, пока пройдет боль и попытаться выбраться отсюда. Больше всего на свете мне хотелось согреться, но снизу и с боков был лёд, наверху была узкая полоска неба, залитого солнцем, его лучи не проникали в эту щель.

Мои зубы стали стучать, я стала тихонько завывать, как брошенная собака. Скоро голос охрип, я продолжала звать, глядя на узкую полоску неба.

Неизвестно, сколько же времени прошло, но я стала согреваться. Тепло все больше окутывало меня, а боль и тяжесть стали уходить, мне становилось легко и спокойно.

Еще никогда мне не было так спокойно и хорошо, будто ко мне приближалось счастье. Я затрепетала, ожидая его.

И это чувство не обмануло меня – за спиной, где был только лед, появилось что-то легкое и прозрачное, которое я видела, хотя не поворачивала голову. Это были мои крылья.

И вдруг неожиданно для себя я почувствовала, что могу оттолкнуться от ледяной стены и взлететь навстречу голубому сиянию неба.

Я легко поднялась над моею щелью и наверху увидела летящую навстречу мне большеглазую бабочку – Аманду. Мое сердце рванулось навстречу ей, и мы закружились надо льдом, покрытым цветами со звонницами, которые звенели.

– Скорее, скорее в Файнхолл, там ждут нас, – торопила Аманда, и от счастья у меня то замирало, то взрывалось сердце. Я набирала высоту и парила, я ровно взмахивала крыльями, и мы летели. Аманда не отставала от меня.

Впереди уже сверкал дом, я знала, что это дом Аманды. Тот самый дом!

Я смеялась и кружилась, это я танцевала, но вдруг что-то ударило меня по лицу, и голос Тины закричал, чтобы я не смела так поступать. Она мучила меня, и я поняла, что она очень жестокая. Она изгнала все мои цветы со звонницами, а меня, бабочку, придавила чем-то тяжелым.

О моя огромная белоснежная яхта, отплывающая в ту сторону, где каждый дом – Файнхолл, прекрасный дом, где девочка с парализованными ногами посылает в мир не беду свою, а легкокрылую бабочку.

Она опустила на мое сердце, и с тех пор поселилась в нем непреходящая тоска по дому, где умеют быть счастливыми. Туда и только туда был мой путь, начавшийся с того момента, как меня увезли в горы.

* * *

Я – Аманда, превратившаяся в легкокрылую бабочку. А кто-то плакал и называл меня другим именем, оно мне было знакомо.

– У девочки миновал кризис, – сказали надо мной.

Потом сквозь сумрак проступила комната, цветы оказались рядом в вазе, мое тело перестало быть телом бабочки, я ощутила ноги, но не ощутила крыльев за спиной.

Я не была Амандой, я была мною.

Надо мной склонялись лица, меня целовали, что-то предлагали есть – это было наваждение из множества лиц. Предстояло узнать, кто были все эти люди.

Мне предстояло, кроме того, сложить цепь событий, которые бы объяснили мне многое. И я затратила немало усилий, связывая в памяти все происшедшее в единое целое.

Однако было что-то, что оставалось недоступным моему пониманию.

Губы всех людей были немы для меня, как будто я надела наушники, только вместо музыки отныне я слышала лишь удары собственного сердца.

Тогда я превратилась в тайного, невидимого зверька у своего собственного изголовья, который никогда не дремал, даже когда у него были закрыты глаза и ровное дыхание спящей. Он без усталости охотился, вылавливая истину, из которой меня заново рождали на свет, выхаживая после крупозного воспаления легких, полученного во льдах.

Чаще других я видела возле себя красивое, очень красивое лицо женщины.

Сменяя друг друга, обитатели многочисленных домов, где я скиталась в моей жизни, приходили сложить к ее ногам цветы поклонения ее самоотверженности.

По словам этих людей, это была самоотверженность настоящей матери. Все восхищались этой женщиной.

Двух лиц я не помнила – лица моей матери, умершей, когда мне было пять лет, и лица Тины...

И еще одно лицо было мне незнакомо, когда выплыло в зеркале – бледное, с прозрачными, почти салатового цвета, глазами – лицо убийцы Тины, которая умерла от кровотечения, погубив себя и своего ребенка, спасая меня из ледяной пропасти.

* * *

Когда я открыла лицо, этот человек стоял на пороге и смотрел на меня сверху вниз. Я не могла увидеть его взгляда, съездившись, я ждала, что одним движением он наступит, затопчет, убьет меня.

А он молча спустился, сел на последнюю ступеньку и сидел так, уйдя в себя.

И вдруг во мне прорвалось что-то, я заговорила и не могла остановиться. Я рыдала и все ему рассказывала – о Файнхолле, о всех других домах, о доме Тины.

Прошло сто часов, прежде чем он взглянул на меня и долго так смотрел.

Потом встал, поднял меня с колен, взял за руку и повел по направлению к плато. Автобуса не было, и он продолжал вести меня по дороге. За все это время он не сказал ни одного слова.

Через несколько километров нам встретился автомобиль, мужчина остановил его, посадил меня и отправил прочь из гор, в которые когда-то увезла меня Тина.

Через несколько лет он нашел меня. Было что-то неделимое у нас, мы и не стали это делить. И не стали бежать от случившегося много лет назад, а вместе вернулись в тот дом, стали приводить его в порядок. Это дало нам жизнь, нашу общую жизнь.

Но у нас еще оставалась тоска. Для будущего нужно было победить и ее.

Все лето он трудился над домом, а я посадила вокруг дома цветы. Особенно много там было белоснежных хризантем, которые расцвели осенью.

Наступила поздняя пора осени, мятущаяся, которая приковала нас к унынию. Но еще более печальная участь ожидала ее.

Как старый, облезлый пес, с желтыми в предсмертной тоске глазами, ползла она к подножию гор, за которыми был ледник, и там издыхала.

Ночами ветер рвал её, и ключья долетали до нашего порога. Мне казалось, то же самое происходило с моим сердцем. Это в последний раз, – шептала я себе, бледнея от воспоминаний.

Больше всего на свете я любила теперь этого человека, который строил мне то, что я так рано и мучительно начала искать.

Мы ожидали зиму и надеялись, что её девственная чистота скроет смятение осени, тоска уйдет безвозвратно, и наши сердца отдохнут, наконец, в тихом счастье.

И однажды утром снег принес нам сияющую безмятежность...

1987 г.

ВОЛК, ВОЛК...

Небо и море были вспороты по горизонту алой полосой заката. Краски были яркие и чистые, как у Рокуэлла Кента, я громко сказала об этом соседним балконам, и все вышли посмотреть фантастическую живопись природы.

Каждодневный ритуал проводов солнца в другое полушарие собирал на берегу всех.

Ежевечерне закат поражал нас неповторимыми картинами: то вздымались в небо огненные паруса, то смотрели из туч два огненных глаза, то падал огненный шар в пучину моря.

Поздно вечером холодным светом зажигались фонари на берегу, растворяясь на рассвете вместе со звездами.

Волк жил этажом выше, спал на балконе и по утрам казался спящим в клетке.

В столовой он молча поглощал пищу, перебрасываясь с другом скорее знаками, чем словами, и изредка вскидывал взгляд, высматривая следующее блюдо.

В море он бросался с самого берега, непонятно как уходя в глубину. Ему было лень искать удобное место, и он бросал свое загорелое напружиненное тело в песок у самой лестницы, куда никто другой не ложился.

Это был молодой и сильный зверь. В лифт, к лестницам, в кресло он бросался так же, как в волны.

Я жадно смотрела, наблюдала, прорезаясь в его взгляде, как в отблеске молнии.

Все остальные люди были отдыхающие. Среди них были известные актеры и режиссеры, издатели толстых журналов, журналисты-международники, советники Министерства иностранных дел, теннисисты и шахматисты с мировой известностью.

Этот пансионат, предназначенный для кинематографистов и журналистов, вбирал в себя не только столичный творческий народ, но и тбилисцев, взивавших дань за территорию солнечной Пицунды.

Здесь, как и всюду, были свои контрасты: наезжавшие в изолированные одноэтажные коттеджи с громким гулом секретности семьи членов советского правительства и – гримерши, костюмерши, попадавшие сюда, как правило, исключительно случайно.

Или – великие актеры, сражавшие наповал обслугу своим обаянием и скромностью, и – дамы тбилисского света, которые с особым шиком меняли

по несколько раз на дню одежды и застывали в величественных позах в холлах с видом на море.

Творцы и создатели, оторвавшись от своего прекрасного и напряженного труда, самозабвенно отдавались морю и солнцу, играли в пинг-понг, большой теннис, бильярд, удили рыбу, смотрели кинофильмы, собирались за столиками приятными и нешумными кампаниями, то есть, как было принято говорить среди них, отдыхали «совершенно очаровательно».

Волк был Волк. Жил в номере, питался в столовой, лежал на пляже – красивый, затаившийся хищник, проникший через дыру, открытую для тбилисцев.

Я не искала этого мира, стоя в маленьком аэропорту родного города в полчасе лету к морю, имея для недельного отдыха голубое платице, изумрудный сарафан с драконом и немецко-русский словарь на 80 тыс. слов, который намеревалась подкладывать под голову на пляже, чтобы этой осенью сдать кандидатский минимум в аспирантуре на отделении теле-радио журналистики Московского университета.

В холле металась крошечная, как эльф, кудрявая дикторша местного телевидения с путевкой, которую выбила с большим трудом и которая теперь из-за отсутствия ее подруги, известной танцовщицы, горела в ее руках синим пламенем.

Увидев моих родителей, провожавших меня, она вцепилась в них намертво, обрадовав пансионатом со сверхприличными условиями, снимая тем самым камень с их душ от моего путешествия в неизвестность.

Не искала я и Волка. Каждую весну я наблюдала одно и то же в баре моего московского министерства, где служила в рекламе. Я зримо видела, как к столичным девицам подкатывала волна и несла их к морю, к пылкой и краткой любви кавказцев в жареве пляжей, в прохладе номеров и ресторанов, к буйству душ и тел.

Вкушая пирожное – эклеры, они предвкушали Юг, прелесть которого научились вырывать у серой монотонности жизни как спортивную победу.

Там, где начиналось южное солнце, был мой дом, и великая истина вбита в сознание, что берег Черного моря – не место для настоящей любви, которая определяет для девушки всю ценность жизни.

И я испытывала лишь презрение к девицам, имевшим характеры чувственных бойцов, способных побеждать в себе конец сезона, сворачивать кипящие радости, чтобы следующей весной лечь на новую волну.

Фрейд был непризнанным на моей родине философом, ему, как и персам царя Дария на белых слонах, не суждено было пройти, в древнее горнило Дарьяла, чтобы занять почетное место среди наших исконных старейшин, откуда исходят все великие истины, заполняющие незримый багаж наших предубеждений, вручаемый сотням таким, как я.

И если Бог наказал меня, то не за гордыню или презрение к жрицам люб-

ви у моря, а за то, что упрямо рвусь к тому, чему нет места ни среди законов отрицания, ни среди беззакония соглашательства. Не зная сама, чего ищущая, я храбро шла навстречу волчьим законам любви.

И вот теперь я без отдыха охотилась за Волком, безоружная, без капкана. Но, пойманная им сама, таскала на шее обрывок шнура от ошейника со старинной монеткой и была похудевшая, чудом загоревшая, при моей безотносительности к пляжу, с голодным светом в глазах, если в них не отражался готовый к прыжку в сторону Волк.

Он меня щадил, можно сказать, даже тщательно оберегал от себя же. Я сидела словно на пьедестале, поднятая им на высоту, спустив оттуда ноги, и тихонько плакала от невозможности что-либо изменить в этом поединке со зверем.

Мы оба были кавказского происхождения, и он, к своей чести, не имел намерения перейти ни одну из дозволенных граней по отношению «к своей», а на большее – любовь – он и не рассчитывал.

Старухи, бывшие балерины, сидевшие между нами в столовой, наводили на него лорнетки праздного любопытства, и он мелькал в них, притаскивая очередную жертву для вечернего заклания, шокируя старух.

Каждое утро за завтраком они, как на педсовете, подробно обсуждали его вчерашнее поведение. У них была цель отвратить меня, хорошую девочку, от него, интересного, но опасного.

По этой причине они не могли быть равнодушными к нему. Это тоже было охотой на него.

Я же ни разу ничего не заметила. Волк был осторожным или благородным хищником, если такой парадокс уместен.

Поначалу, не разобравшись в его коварстве, я спокойно проводила вечера в пустом номере, заучивая немецкие слова из общественно-политической лексики. Я пропускала фильм за фильмом, идущие в кинотеатре нашего пансионата, где режиссеры и актеры были рядовыми зрителями своих же фильмов, и наблюдать их собственную реакцию иногда было довольно забавно для окружающих.

Когда, наконец, я взбунтовалась, он меня вмиг усмирил, сказав убедительную гадость о фильме. Тот вечер я тоже просидела в своем номере, потому что Волк исчез еще на закате. Это было необъяснимо – наша связь, прижавшая с самого начала такую форму.

Начало было положено в баре на территории пицундского «Интуриста», где в ту пору были в основном западные немцы, чехи и немного поляков.

Тот, кто сидел рядом, извлек меня, плачущую, из будки междугородного автомата, где я узнала, что опоздала на экзамен, потому что не успела сделать перевод книги по телевидению, а значит, все откладывалось до следующей весны. Потрясение мое имело ту основу, что в моей жизни ничто не происходило, не сдвигалось – был полный штиль молодой жизни, как во сне, когда ты бежишь из всех сил, оставаясь на одном и том же месте.

Но тот мир, в который я попала, каждое утро включал парад звезд под моей лоджией: дамы в ультрамодных туалетах, бывшие по ту и эту стороны экрана, звезды с детьми, с мужьями, с любовниками, за завтраком, во время вечернего променада у моря... Все это было круговой панорамой, к которой, как в стереокино, не стоило протягивать руку, чтобы установить эфемерность. И в то же время это был самый живой фильм вокруг меня.

Прыжок Волка был откуда-то из-за моей спины, при этом он успел резануть меня взглядом, осушить бокал сока, бросить на стол ключи от общего номера с другом и исчезнуть.

Я запомнила быстрый режущий взгляд серых глаз, фосфоресцирующих в темноте подвального бара, и короткую шерсть на голове.

Это было одно мгновение, мы продолжали сидеть с его другом, у которого улыбка, как оказалось, никогда не сходила с лица, даже во время еды.

Оставшись сидеть в волнах поднявшейся светомузыки, я, тем не менее, перестала вовремя отвечать на вопросы, видеть что-либо вокруг, ощущать себя.

На следующий день после нашей короткой встречи в баре из укрытия с замиранием сердца я наблюдала, как Волк рыскал по пансионату, пока не напал на мой след. Случайно пройдя по его следу, я услышала, как в холле компетентная дама из столичной элиты заметила:

– Этот никому не известный юноша являет собой тот редкий тип мужской красоты, перед которым женщине трудно устоять.

В ответ последовало резюме, что женщина и не должна уставать перед таким красивым южанином на берегу лазурного моря – и смех дам, много отдохнувших на море.

Волк, найдя меня, стал скромно рассказывать свои сказки, настоящие сказки-притчи, из которых самой мудрой была сказка о Герцоге и Картошке, которую герцог любил. В свою очередь, он просил меня читать свои стихи, и между нами установились волнующе-доверительные отношения, что– то высокое, о чем Волк сказал примерно следующее:

– Красная Шапочка, я – Волк, но не хищник, а философ, и в таком достойном качестве жду, что ты привнесешь в ту сказку, которую мы создадим с тобою вместе, свою прелесть и нежность.

На что моя дикторша, с которой мы жили в одном номере, сочла необходимым заметить, что на побережье моря, в неге песка и волн – это поистине удивительный и редчайший вид соавторства.

Волк, проигнорировав слова белокурой красавицы, бросил мне ободряюще:

– Мы напишем с тобой сказку, – и исчез так же внезапно, как и появился.

Дикторша, чувствуя по старшинству некую ответственность перед моим причастием в мире сказок, продолжила линию человека, тоже немало отдохнувшего на море:

– Волк, может быть, и философ, но в самое ближайшее время вынужден будет сбросить с себя шкуру мыслителя и остаться в нижнем белье заурядного соблазнителя. И поверь, моя девочка, никто на морском отдыхе не ищет идеи большой любви, которую ты готова заложить в свою сказку, как дрожжи в тесто.

Она наставила на меня свои вдруг ставшие печально-мудрыми глаза, умевшие застыть на телевизионном экране без моргания, как у сфинкса, и на следующее утро приняла решительные меры – спрятала меня в женском монастыре нудистского пляжа в конце владений пансионата.

Но частокол из голых тел не мог прикрыть моей стыдливой души, мне казалось, монахини слишком откровенно звали к мужчинам, лежавшим неподалеку, потому что вдруг начинали, как удивительное растение, тянуться к солнцу, вскакивая всеувидение.

Шокированная вкусом моей дикторши к антисоветской экстравагантности, я бежала в глубину нашего номера. Выйдя из повиновения дикторше, я заслужила от нее упрек – если я так страдаю по Волку, то не должна строить из себя девочку, чтобы не испугать его.

И я приняла сакраментальное решение больше не строить из себя девочку. Подойдя к Волку, расположилась на песке рядом с его логовом и расправила вокруг себя юбку из стрекозьих крыльев.

– Волк, Волк, съешь меня, – тихо попросила я.

Но жестокий волчий закон распространялся только на овец, поэтому Волк ответил: глупо утруждать себя поисками пищи за обильным шведским столом. На это уйдет много сил, а результат будет тот же.

Я встала и ушла, оставив вместо себя яблоко. Это единственное, что я могла дать Волку в ответ на его сложную философию духа и плоти. Высокомерный Волк решил не соблазняться и этим.

Вечером у лифта боковым зрением я заметила Волка, притаившего кого-то. Лохматая жертва, добытая в дебрях чужого пляжа, пьяным голосом выдавала... критический разбор его сказки о Картошке, которую любил Герцог!

Я застыла на месте. Застыл растерянно у входа в лифт и Волк. Войди я туда, захлопнулась бы ловушка, и одним нажатием кнопки мы понеслись бы в одной кабине к разным высотам: они – в бар на восьмом этаже, продолжать свою пьянку, я – в преисподнюю пятого этажа, в мой опостылевший номер.

Пришел другой лифт, я села в него. Ровно через мгновение он появился в моей комнате, бормоча о каком-то сердечном препарате для зуба. Я смотрела в окно на море. Он то прикасался к моим волосам, то оказывался на балконе у дверей – метался как зверь в вольере, при этом мягко упрекая меня в чем-то, вероятно, в том, что я так переживаю.

– Одно и то же можно рассказывать по-разному. Им всем я не так рассказываю, как тебе. Что же мне делать с тобой?! Хочешь, я подарю тебе пьесу? Завтра я подарю тебе пьесу! – выпалил он и исчез.

...Я придерживаю веслами лодку, пока старый тбилисский газетчик закидывает в море снасть. Мы качаемся на волнах, рыба плывет в сеть, вечером он будет угощать друзей и женщин жареной рыбой. От блеска моря в лучах утреннего солнца я закрываю глаза и вижу, как плывет к лодке Волк, широко раскидывая руки и охотясь за волной. На морде Волка блестят капли воды, переливаясь радугой. Смеясь, он исчезает в глубине.

Это полусон, здесь нет ни волков, ни акул, никого, кроме нас, и пойманных тонкой удочкой рыбешек. Старый газетчик похитил меня и увез в море, потому что его бесила привычка Волка уходить в сторону от его взгляда в холле, где он, как рыбку из моря, пытался вытянуть из Волка его сущность.

«Почему такие чистые и хорошие девочки попадаются таким стервецам?!»

Совсем недавно в полдневный зной я лежала на кровати и через открытую дверь балкона наблюдала за тем, кто носился за катером на водных лыжах. Это зрелище заворожило меня, я решила без сомнений, что это Волк, и он прекрасен.

Теперь нельзя было даже предположить, что такой фейерверк силы и красоты могла извлечь из себя истасканная сущность Волка.

* * *

К завтраку он приготовил для меня дружескую улыбку, ничем безобразнее он не мог угостить меня.

– Не мешало бы погладить, – вскользь бросила ему костюмерша с Мосфильма, сидевшая за соседним столиком.

– Рубашку? – не понял он.

– Лицо, – пояснила она.

Волчью морду не выгладишь утюгом, поэтому после завтрака он проспал целый день, проглотив только ужин.

– Мы идем на шашлыки, – провозгласил его друг. Все недоуменно переглянулись: зачем, идя на шашлыки, так наедаться ужином?

Что денег нет давно у этой стаи, было особенно ясно, когда они терпеливо ожидали на шоссе автобус. Такси было для них королевским экипажем, когда попадалось к вечеру что-то поприличнее.

Тем временем я спокойно слезла с пьедестала кавказского благочестия, но не как в детстве с забора, обдирая коленки. Я слезла аккуратно, можно сказать, элегантно сошла вниз – на песок пляжа, к волнам, к роскошным овощным салатам в столовой, где передаешь ложку из общей салатницы в руки будущему победителю Каннского фестиваля, к внимательным взглядам мужчин.

Теперь я была почти бронзовой, мои скулы отполировали море и солнце, ожил мой дракон на тонких бретельках.

Тут я впервые взглянула советнику МИДа в глаза, и он рассказал о шра-

мах на своих руках – реликвиях международного конгресса миролюбивых сил. Оставив на время океан враждебной информации в одной из ближневосточных столиц, он приблизился к морю, чтобы подставить свои шрамы родному, не сжигающему ультрафиолету.

Старые актрисы с печальными улыбками прошлого, молодые актрисы с точеными фигурками, обтянутыми белоснежными костюмами, качели полуостровного моря, запах сосен и роз, полутьма вечернего бара, шарм московского остроумия, игристого, как шампанское, – так много разного, делающего «совершенно очаровательной» эту страну отдыха, открылось внезапно.

Волк в измятой шкуре продолжал, теперь уже не таясь от меня, даже с некоторым вызовом, таскать податливых овец на свой этаж, отсыпаясь по утрам в клетке, припадая лишь к обеденной пище. Теперь наши столкновения, ставшие неприятными, пугали меня.

Мое окружение часто сидело приятной компанией в городском баре, имевшем архитектуру старинной крепости, и мы подолгу смотрели, как в центре зала взлетали вверх струйки фонтана, напоминая орган.

Там всегда звучала итальянская музыка, охватившая в то лето все побережье, и кофе по-турецки был настолько хорош, что обычно весь внутренний дворик под небом занимали немецкие туристы.

В этот раз Волк появился в обществе двух актрис – одна из которых, серая мышь среднерусской полосы, вызывающе устроилась напротив меня. Где они играли, никто не смог сказать, сейчас они составляли мажорное и довольно вульгарное трио, вечерняя программа которого была ясна, как день.

Мне показалось, что это могло быть последним пиршеством – три чашечки кофе по-восточному. Волк уже изрядно устал и, по всей видимости, поиздержался в средствах.

У меня тоже оставалось мало – ровно один день. Еще можно опуститься на песок, зарыться в его прогретую зыбучесть и забыться сном, а море уносит с отливом все тяжести, принося взамен покой и свежесть.

Где-то в заливе старый газетчик ловит тонкой удочкой свою рыбку, вечером будет угощать милых дам. Советник греет свои шрамы. Старенькая кинозвезда бредет по пляжу, прикрыв от зноя глаза, так хорошо узнаваемые всеми.

Все проходит в этом мире, и такая капелька жизни, как отдых на море – тоже. Я иду по пляжу в последний раз. Прохожу мимо лежбища Волка и его подруг.

Среди служительниц Мельпомены произошло какое-то движение в мою сторону и раздался смех. Смеялась серая мышь, а за ней – хрипло от чрезмерного курения – ее подруга. Они разбудили дремлющий пляж, кто-то поднял голову.

Волк лежал, зарывшись в песок, безучастный ко всему вокруг.

Мне не хотелось знать, он ли это, или его пустое логово. Пора было спешить к самолету.

Когда же, наконец, этот идиотский смех смолк, меня проводил в дорогу прекрасный голос моря.

1982 г.

ДАР ЦАРИЦЫ

Сказание о происхождении Иверской иконы и появление ее в Моздоке основано на предании. Предание это вполне согласуется со свидетельствами истории, ими объясняется и подтверждается.

*«Сказание о чудотворной Иверской иконе Божьей Матери»
Кавказ, 1846 г.*

1.

Волы шли ровно, и ничто не предвещало того, что станет потом знамением на века. Но в какой-то миг все изменилось...

Вначале волы встали, как вкопанные, и четверо овсов, что везли свой груз из глубины гор на равнину, одновременно ощутили нечто необычное в обстановке волов посреди дороги.

Какая-то незримая, но непреодолимо властная сила остановила этих больших и сильных животных и не позволяла сдвинуться с места.

Мужчины спрыгивали со своих повозок, ближайших и дальних, чтобы ринуться к той единственной арбе, которая остановила весь поезд.

Они пытались сдвинуть волов с места, но те стояли совсем неподвижно, как вкопанные в землю.

Овсы снова и снова напрягали все свои силы, потому что промедление в пути казалось нарушением данного ими слова, впрочем, самим же себе, в своем сообществе переселенцев – прибыть в Моздок вовремя.

Самым странным было то, что они не могли распрячь быков. Тогда они бросили попытки и оставили всё, как есть.

Было решено остановиться и заночевать вокруг той арбы. Горцы завернулись в свои бурки и, тихо переговариваясь, залегли в стороне от повозок.

Луна то появлялась, то закрывалась тучами, наводя на равнину полнейшую темень.

В полночь ко всем в сон проник один и тот же луч света. Проснувшись, каждый продолжал видеть этот свет, озаривший стоянку и намного дальше – большим ровным кругом – всю равнину.

Один за другим овсы разворачивались из своих бурок и изумлённо смотрели, возможно, в самую необычную ночь своей жизни.

Молча, они наблюдали и другую поразившую их картину: волы уже не стояли, привязанные впереди арбы, а были распряжены. Вот только кем, если овсы были теми же, кто отошел от них в начале ночи?!

Огромные быки стояли вокруг не только этой арбы, но и всех остальных, сбив их в один плотный стан.

В том круге были быки от всех других повозок, и все были разнузданы, однако, ни один никуда не уходил и не опускал головы к вожделенной траве – все стояли в ярком серебряном свечении, которого не могла посылать луна, скрытая за тучами.

В окутавшем волов свечении главным атрибутом происходящего были сами животные.

Великие символы жизни, испорченные волей человека, лишившего их естественного продолжения, они когда-то были навсегда выведены за круг солнца в ночную темень. Символы плодородия, они были лишены плодородия собственной природы.

Когда-то и они, как все живое, наполнялись солнечной энергией и были так же беспечны и веселы, как нетронутые быки.

Точно так же они заполняли мир собственной плодovitостью, вспаханные поля плодородием, а когда ночами снились пахарям, один их вид сулил богатство и радость жизни.

Они служили для человека всем, что было у них – и шкурой, и мясом, и своим пожизненным трудом. Они были тельцами и для меня их на золото, и для кровавых жертвоприношений.

Цвет их шкур оповещал не только о мудрости бытия и несомненном изобилии, но и о смертности всего земного.

В их белых шкурах китайцы видели символ мудрости, а греки и римляне – жертву всемогущему Зевсу.

Уделом чёрных шкур была жертва Плутону. Чёрным быкам отводилась самая печальная миссия на свете – перевозить в повозках чью-то смерть.

Всякий раз, рождаясь солнечными быками, они получали смертоносную метку и уходили во тьму бесплодия, откуда глядели на мир своим характерным взглядом исподлобья.

Как изначально ни противоречило это божьим заповедям, вол претерпел от руки человеческой наказание за лучшее, чем был одарен – за силу и мощь, за смирение и покорность.

И когда, с позволения самого Господа, или вопреки, волы стали быками с затронутой плотью, и уделом их стал тяжелый труд в вечном ярме, они безропотно отдали человеку последнее, что имели.

Оно воплощало все, что было в них изначально и что было приведено в такой вид искаженного существа, после которого им не оставалось ничего иного, как получить в награду за смирение свой образ в библейских сценах, дабы напоминать смирение самого Господа Иисуса Христа, взошедшего на Голгофу.

Никогда не было народа и такого времени, когда бы вол не был чрезмерно востребован, но не свирепым тельцом вассанским, о коем сказано: « крепость

его как первородного тельца, и роги его, и как роги буйвола; ими изободет он народы все до пределов земли», а тем, о ком сказано было Моисеем – о чистоте его души, не тронутой никакой страстью.

Лунными ночами, сострадаая, смотрел на них воловий бог Волопас.

Претерпевший глумление кастрацией, стеная, но, не смиряясь, единственный из всего племени, ушел он, непокоренный, к луне и звездам, чтобы возвыситься над своей судьбой и стать созвездием лунных быков.

С тех самых пор Волопас и начал повелевать своею властью всеми волами на свете.

Днем, предоставленные власти человека, они тащили свои непосильные ноши, везли тяжелые подводы в горах и на равнинах, не сбиваясь с пути и не ломая ноги о каменистые дороги, незыблемые и непоколебимые, как столпы земли.

А ночью... быть может, впервые дано было видеть человеку, как освобожденные волы кружили под небом, подчиняясь неизвестно кому и чему – своему Волопасу или иной силе.

Взгляд исподлобья вернется к ним с первыми лучами солнца, как только веселые быки жизнерадостно встряхнут ночную дрему и встрепенутся, завидев вторую половину своего племени.

Тогда же волы опустят свои глаза долу, и вечная боль потери отразится в них.

А между тем, в стоянии овских волов выделась не простая неподвижность животных, это было лёгкое, едва заметное кружение, происходившее с ними, как во сне, и в этом случае это был самый медленный танец, который когда-либо происходил.

Танец волов под луной, под созвездием вечного Волопаса, который, возможно, и сам наблюдал подчинение собратьев не тьме, а свету, правившему этой ночью.

Уже никто не сомневался, что волы кружили вокруг той самой арбы и были полностью поглощены своим кружением – все до одного подчинившись тому, что происходило с ними. Эта воловья отрешенность от самих себя, вначале поражала более всего.

И, наконец, ни у кого из овсов не осталось сомнений, что свет исходил из арбы.

Все разом, в единый миг, осознали, что Свет излучала икона, которую они сами завернули в чёрную бурку, чтобы не пострадала в пути.

Теперь овсы знали, что скрывалось за этой иконой.

Но никто на этом свете не может знать всего, что таит в себе святой лик...

2.

Перед тем, как найти сокровенный дар в помощь для овсов, царица вызывала к себе мастеров, смотрела пристально, словно внутрь каждого, хотя уже все мастера впитали то, что называлось иверской иконописной школой, но она всех отсылала и призывала нового.

Наконец, остановив свой выбор на одном, она повелела ему начать писать икону Божьей Матери по установившимся канонам.

Избранный иконописец, готовясь к написанию, прошел шестинедельный пост, усердно молился весь этот срок и, получив внутреннюю готовность и благословение не только царицы, но и высшего священнического сана, ушел в творчество.

На тот момент было неизвестно, получит ли икона благословение от самой Божьей Матери, но мастер, не думая об этом, писал свой труд для овсов, истинной веры у которых в Учителя, как он знал, на тот момент было не больше, чем в одном мазке его кисти.

Так сказала сама царица, доверяя ему свою тайную тревогу.

Поэтому мастер вложил в икону всю надежду – и царицы, и свою, но не ради благосклонности повелительницы, а возвысил свой дух для благословения самой Матери Господа, которое невидимо, неслышимо, но проявит себя, если икона будет писана по ее святому Благословию.

Он думал, нельзя об иконе думать, насколько она хороша ликом, есть только одно мерило – будет ли она таить в себе божественный свет или нет.

Никто из иконописцев никогда не может предугадать, как отнесется сама Богоматерь к написанию своего образа. Порой ему казалось, что она наблюдает за процессом творчества, и кисть ложится ровно так, как должно ей ложиться, и глаза смотрят с печалью и нежностью на мир, как на большого младенца.

Не знала этого и царица, когда, получив икону от мастера, готовилась к отсылке ее за Хребет утром следующего дня.

А на следующий день царица отсылала икону Богоматери в народ овсов как чудотворную, ставшую таковой в ту ночь, когда она велела поставить ее до утра невдалеке от своего ложа, а ночью проснулась от света, который дал понять царице, что в иконе заключен свет Небесной Царицы.

Теперь царица Тамар уверенно отдавала ее, зная, что выполнила обязательство своей души перед Господом.

Однако никто не мог и подумать, что в Иверской иконе Богоматери заключено, казалось бы, своеволие самой Иконы, а правильное сказать – высшая воля...

3.

В Дзывгисе, горном селении Большого Кавказа, у овсов была крошечная каменная церквушка, где и хранилась икона.

В ней едва бы поместился один престол, такие молельные залы вбирали не слишком много веры от осетин.

Именно это имела в виду и русская царица Елизавета, создав целую Комиссию по вопросу, как оторвать горцев от магометанства, которое ничего им не дало, но разрушило христианскую веру алан, зародившуюся задолго до самих русских.

Было время, когда была у них и греческая православная митрополия и одновременно согласились на католическую римскую, что говорило о политике больше, чем о сознательном выборе способа веры в Господа Иисуса Христа.

Потому что в результате всего овсы вернулись к своей древней арийской, только при этом вобрали образы святых от Учителя, которого забыли.

С ними в горах пребывала та горстка святых, что совместились с утраченными богами, и они жили в душах овсов, заимев новые имена – христианские.

В тех горных церквушках нашлось место великомученику Георгию, ставшему небесным покровителем путников на всех дорогах, и архистратигу Михаилу, и другому бесплотному архангелу – Гавриилу и еще святым, которым молилась и Россия, и Грузия, и вся христианская Европа.

Но во время жертвенных обрядов овсы по-прежнему обильно орошали землю кровью тельцов и агнцев по любому поводу – от рождения младенца до его смерти, порой в столетнем возрасте.

Грузинская же Племянница из всех своих сил старалась для материнского народа – присылала мастеров с обозами красного, никогда не гниющего, дерева.

Они-то и строили в самом глубоком Цейском ущелье, на той высоте, где альпийские луга встречаются с вечными ледниками, церквуку из вечного дерева во имя святой Троицы.

Мастера те повсюду оставляли надписи на грузинском языке. Овсы и не смотрели на надписи, и не пытались их заменить своими, потому что никогда не читали священных писаний, доверив таинство смысла писаний своим небесным покровителям.

На самом деле Племянница старалась из любви и преданности Учителю образумить народ, родной ее по крови, ибо зачата она была княжной Бурдухан, дочерью вождя Западной Алании Худана, от грузинского царя Георга III.

Все надежды иверской царицы были на то, что ее материнский народ овсов возьмет больше веры от ее священных даров, с их помощью научится жить в святой вере, не подвергаясь преследовавшей их гибельности.

Овсы чтили царицу, гордились ею, с открытыми сердцами благодарили за приносимые дары.

Издревле была у них некая разница в отношении к детям, рожденным женщинами от мужчин другого племени. Эти потомки всегда были привязаны к материнскому народу, за что их любили овсы, если не больше своих детей, то почитали больше.

Царица Динара, как звали ее русские, рожденная от аланской женщины, или ясской, как называли русские весь народ, выражала любовь своим стремлением помочь взойти к былому, конечно, не величию, какое величие у потерянного народа, но к почти забытому ими умению выживать во всех частях мира, куда только вели их прежние дороги.

Дороги эти всегда были дорогами войны, от поколения к поколению – то сарматы, то аланы, но всегда и неизменно – воины.

Она же словно подстергала их повсюду, неусыпная Племянница, старавшаяся в своей совершенной любви к Учителю не только держать в благодати свой отцовский народ – иверский, но и родных овсов.

Царица думала ночами, что без веры, с вьевшимся язычеством, которое подтолкнет их к гибели, непременно и больше, чем простые человеческие грехи, этот народ всегда висит над бездной.

Огненной лавой, снежной лавиной, злобной мошкаррой беды нагрянут из тьмы и поглотят их, думала она, не зная, не предвидя, как именно.

А когда случилось нечто подобное, спустя века, то уже не было на свете царицы-старательницы на ниве овского безбожия.

Та чума, которая косила всю Европу, заглянула и к ним в горные ущелья. Тогда овсы поставили умирающим городок, чтобы оградить живой окружающий мир от тления, настигавшего их.

Работал инстинкт верных долгу так же, как когда-то, когда, по договоренности с Римом, стояли они сверх организованным охранным отрядом у стены Адриана в Британии.

И сейчас, верные какому-то непонятному высшему долгу и исконной воинской дисциплине, залегли семьями и целыми родами в островерхих склепах – храмах смерти.

Только сейчас оберегали они окружающий мир от безжалостного и невидимого врага, косившего их, чтобы смерть не поднималась к чистейшим лугам и ледникам, у подножья которых стоял храм из негниющего дерева, присланного когда-то царицей-племянницей.

Возможно, и сами не понимали, что делали это во имя Бога, но Бог-то видел это!

А тот непреложный факт, когда мирно сосуществовали у одних и тех же две митрополии, был верхом политического миролюбия у овсов, впавших в простую человеческую усталость от постоянных походов и войн.

Оседлость сделала свое дело, она расслабила их, а когда пошла всеокулающей лавиной с востока невиданная со времен гуннов сила, они неожиданно приняли на себя первый сокрушительный удар.

Завоеватели откатились к степям, из которых шли своей ордой, а сами они – к горам, потому что знали, что эта великая сила придет вновь и сокрушит все на своем пути.

Тогда же народ Западной Алании покинул свои владения в Причерноморье и по всему Дону, который греки прежде называли Танаисом, а они сами называли все реки, встречавшиеся на их пути, простым и верным словом «дон» – вода.

Оставили тихое спокойное течение большой реки, ушли к своей горской части соплеменников, укрылись в горах, где «дон» всегда был бурным, бешеным потоком, сбегавшим с поднебесья. Он и поил, и исцелял все раны и горести.

Когда уходили, женщины вновь сели на лошадей, как амазонки древности, для многодневных переходов.

А перед тем все долго молились в церквях – роскошных, с высокими сводами и щедро отделанные золотом, у икон, написанных маслом, как у византийцев, в храмах, построенных тоже по имперской византийской моде, со всем ее великолепием и блеском.

Еще не зная, что молятся на долгие века впредь в своей невозвратности к былому.

Простились с уже привычной роскошью, посвященной Создателю, и больше никогда не имели ни одного такого храма – в блеске золотых куполов и окладов, латунных подсвечников и драгоценной церковной утвари из серебра и золота.

Два века потом, закрытые горами как крепостью, они сопротивлялись потомкам чингисхановым, и Тохтамыш, со всем своим умением, не смог покорить их.

Но свобода теперь покоилась на скудной земле, когда ужались они в тех горах, оказавшись вне большого мира, в котором передвигались они прежде с неизбывной свободой.

Ушедший, или оставленный ими мир, содержал многое из того, чем можно было бы гордиться. Но в горах словно отрезало всю память о прошлом. Вместе с верой в Учителя...

Вечерами в глубине Большого Кавказа, черными и долгими из-за рано севшего солнца, они рассказывали детям и внукам свои древние сказания, в которых еще не был рожден Учитель.

Их сказания были древнее древнего, едва ли не от тех пришельцев – невиданных, но след руки которых, окаменевший навечно в цементе строящегося дома, был много больше размера следа ноги самого крупного из высокорослых овсов.

А пятнадцать храмов, сложенных из горского камня этих же скалистых гор, не могли вмещать и троих молящихся. Но было бы место Святой Троице, по веревке овсской!

4.

И вот теперь эти овсы спускались в большой мир из села Дзывгис Куртатинского ущелья Овсетии, покидая родные горы, в которых их фамилии жили тысячелетиями, ради плодородной земли. Спуститься с гор и сеять на новой земле повелела им русская царица Елизавета, дочь Петра.

Так некоторое время назад уже поступили их сородичи из других ущелий, которые теперь ожидали их внизу, на равнине.

Уезжая, куртатинцы не могли оставить свою святыню, полученную в дар от царицы Тамар, которая уже шесть веков подряд спасала их от всяких бед, от чумы, лавин и наводнений.

Лишь позднее было проявлено то, что вложил иверский мастер в написание лика. Не тогда, когда икону только что доставили в Дзывгис, а все овсы собрались смотреть на этот дар царицы.

Ничто не изменилось поначалу, да и было понятно, что никто ничего и не ждал, не зная, чего ждать.

Им был привезен дар от царицы, который следовало принять. Это и было сделано с большой признательностью всего общества, но и с не меньшим непониманием значимости для их суровой жизни женского лица с младенцем на холсте.

Подобные лица красивых юных горянок с младенцами на руках являли картину счастливого состояния жизни любого селения, но только живую картину.

Однако после того, как трижды горела церковь у них в Дзывгисе, и всякий раз Икона оказывалась где-то неподалеку, не тронутая ни в коей степени огнем стояла, как ни в чем не бывало, на какой-нибудь горе, изумление сельчан возрастало от раза к разу.

И каждый раз, получив в результате новой беды сгоревшее помещение, сельчане снимали свою икону с горы и снова водружали на самое видное место, чтобы вновь и вновь просить и получать Бог знает как вымоленную помощь у Мады Майрам.

Святая Дева и все тайны святого семейства были забыты, но Мать Мария осталась с ними навеки – мать всем и каждому.

И от их любви и почитания Матери все им прощалось снова и снова – и забвение ее Сына, и небрежность к помещению, где они хранили икону.

Прощалось, как видно, и незнание всей святой истории, которая к тому времени уже проникла в самые потаённые уголки земли, омытая кровью верных апостолов Христа, равноапостольных святых, тысячами распятых за веру и съеденных римскими львами.

Они думали, всего-то надо бережнее хранить эту икону и просить, просить у нее помощи в тяжелых обстоятельствах.

Именно последнее они делали исправно, потому что бед не убывало, а наоборот, все прибывало и прибывало.

А когда царица Тамар умерла, упокой, Господи, душу этой великой женщины, Грузия, потерявшая свою истинность, стала раздражаться гордыней и распрями, нелюбовью и соперничеством, пока не утратила все признаки своего процветания и тотчас же подверглась большим испытаниям.

Тогда отовсюду ринулись враги и терзали прежде прекрасную и цветущую страну, пребывавшую под мудрым оком царицы и ее супруга-соправителя овса Сослана-Давида Царазона, воспитанного в доме славных Багратидов.

Отданный в царский дом в малом возрасте путем кавказского аталычества, он был воспитан грузинским домом в славных светских традициях.

И жил, вооруженный знанием переведенного иверами Священного Писания не менее, чем владением воинским оружием, когда вместе с рыцарями Фридриха Барбароссы отправился за Крестовиной Господней в Палестину.

И рос он, и играл в детские игры со своей будущей женой и возлюбленной, ставшей царицей перед Богом и властительницей его души. Русский княжич Георгий, первый царственный супруг во имя укрепления союза Руси и Грузии, тоже сын ясыни и суздальского князя Андрея, обладавший тяжелым пороком для политика – чрезмерной склонностью к вину, был оттого удобной мишенью для заговоров против властительницы Грузии.

На том и канул бесславно в Лету, бежал, разоблаченный, к южным сорочичам матери, не пригодившись и там.

Тогда-то и вступил в силу союз двух любящих сердец, и озарил на годы их царствования всю страну Иверию.

Когда же прошел срок их жизни, царственного супруга теперь никак добром не поминали, ни его умения, ни могущества держать в мире и безопасности страну правительницы своей души.

Тогда и сошло на горделивую Иверию на множество веков большое зло.

Ее разоряли и сжигали, убивали и уводили в рабство мужчин и женщин, продавая на невольничьих рынках по всему Востоку, и сердцем Иверии, Тифлисом, теперь правили все – арабы, персы, турки, и вновь жестокие арабы, но только не сами иверийцы. И храмы их постигала такая же участь разрушения.

А овсы так и жили со склоненной головой перед своей судьбой – недоедали, не обозначали себя перед другими, ничего из того, что значило прежде племя, ни перед кем не утверждали, по-прежнему ни на каком языке не писали свое прошлое, одним словом, нищие перед Богом, за что он и продлевал их род.

Если и было что-то, что говорило о них от берегов Британии до Ливии, так были то надгробия аланских могил с неведомыми именами воинов.

Не было у них ни великой веры, ни великих царей, ни рабов. Даже самую лихую бедность они не воспринимали как рабство, а те, кто был богаче, просто имел больше овец и коней, и завезенных через ущелье Дарьял товаров – оружия, утвари, тканей.

Все остальное было одним и тем же, часто общим, как сельские котлы для варки древнейшего – наследство первой человеческой пары – ячменного

пива и супа из мяса горного тура, подстреленного среди скал, или баранов, пригнанных с альпийских пастбищ.

Собери всех горцев в одно войско, были бы неразличимы в конном строю, как образ, стершийся во времени.

Стерлось все и в собственной памяти, да и кому до них было дело, и когда русская царица призвала их спуститься с гор к плодородным землям, то с одним негласным условием – вернуться к заброшенному ими христианству новообращенными.

Послушались далеко не все, только часть их, которых так и назовут во всех донесениях царице – «новокрещёнными».

5.

Они двинулись в путь со своего высокогорья на четырех волах, два впряженных, два позади, привязанных для смены.

С собой везли в большой мир имевшуюся у них святыню, когда она стала проявлять свою волю – остановила животных и их погонщиков.

Миссия этой поездки была вполне осознана овсами – они навсегда покидали горы, проехав по равнине всю свою страну, и были уже вблизи конца своего путешествия.

Но если вспомнить все-таки недавнее прошлое, то продвижение на равнину началось задолго до приказа царицы, когда весь Кавказ узнал, что царь Грозный построил на реке Терек город Терки для своего воеводства.

Тогда и овсы стали осторожно спускаться и селиться к ним в качестве новокрещенных.

Проезжая мимо Татартупского минарета, они уже не знали, что на самом деле он был их последним оплотом и остатками храма, порушенного и сожженного, на котором обманно был водружен монголами минарет как символ их веры, а не тех аланских великомучеников во Христе, имена которых давно стерлись в памяти самих овсов.

Магометанский минарет на порушенной колокольне православного храма, обогрленного кровью невинных христианских жертв, куда прежде по осени сходились не только их единокровцы из-за Терека, но и множество жителей Большой Кабарды, дабы исполнить благодарственную молитву за все, что дал им Господь этой осенью.

Вновь в них дремало то, о чем они и думать не думали – о чудодейственной силе своей Иконы во время стихийных бедствий и пожаров, когда все сотрясается и гибнет, а она всякий раз оказывается где-то и смотрит на них со стороны, призывая их к себе как своих детей.

Правда, позолота со временем покрылась патиной вьевшейся копоти, но это никак не скрывало святого образа от всех, кто смотрел на него с надеждой.

Завернули ее, как ребенка, положили на дно арбы, запряженной волами,

повезли с собой.

В этот раз, хотя все вокруг горело, это был не пожар. Горело не красным, сжигающим цветом, а ровным свечением, в несколько раз сильнее, чем лунное – не обжигающее и не холодное.

Вначале тихая радость, проникающая в грудь, в сердце, в душу – у всех одно и то же чувство теплоты и спасительной радости оттого, что Она по-прежнему проявляет себя чудесным образом.

Свет сиял на протяжении всей ночи, овсы больше не дожились спать и не разжигали костров, а молча сидели, окутанные этим сиянием. Каждый ушел в себя, быть может, каждая душа искала путь общения с Богом.

Так и прошла эта ночь воистину волшебного сияния, а утром, когда все растворилось в ясной заре, они легко и беспрепятственно запрягли волов, которые были опять обычными волами.

Однако, как только начали двигаться в путь, все повторилось, и сколько ни понукали волов, никаких сдвигов арбы добиться не могли.

Снова бились с непостижимой силой, но не потому, что хотели сломить сопротивление этих тяжелых и упрямых животных, а затем, чтобы скорее довести икону туда, где ей надлежало быть – в храм.

Пока один из них, пораженный чем-то внутри себя, не воскликнул, что услышал в своей голове, как сказано было, однако, не его и ничьим чужим голосом, а мыслью:

– Оставьте икону на месте, а сами уходите...

Ему вняли, икону вынули, арбу отвели вперед, а ее поставили, и она встала без всякой поддержки, хотя ни камня, ни дерева в голой степи!

Она больше не светилась, была внешне обычной иконой.

Овсы запрягли всех волов и быков в поезд из подвод и двинулись вперед. Но, уходя, они всё оглядывались и оглядывались...

А икона Богоматери, никем и ничем не поддерживаемая, стояла сама по себе в степи и смотрела им вслед...

6.

Волы в Моздок пришли обычные, с погасшим взглядом, глядя исподлобья и, как всегда, в ярме – ничем не примечательные животные, несчастные тем, что они извечная тягловая сила.

Это случилось в первые годы епископства в Моздоке Гайя, то ли иверийца, то ли овса.

Преосвященный Гайя вывел народ, и крестным ходом они приблизились к месту стояния иконы.

Отслужив молебен перед нею, он подумал, что теперь икону надо снять и скорее доставить туда, где ей надлежит быть – в храм. Поэтому сняли было ее со ступи и понесли.

Но и Гайя тотчас же получил от Иконы безгласное повеление оставить ее